

Игорь Клямкин:

Не могу сказать, что ответ меня полностью устроил, но больше вас мучить не буду. Еще есть вопросы?

Андрей Пелипенко:

У меня вопрос терминологического характера. Такие понятия, как «архаика», «традиционализм», «первобытность», — как они между собой соотносятся? Ведь в строгом смысле слова «традиционное» общество — это общество доосевого. В докладе же понятие традиционного общества и вообще традиционализма используются безразмерно широко. Насколько корректно применять это понятие в диапазонах от архаики до Средневековья и от последнего до модерна?

Игорь Яковенко:

Действительно, если помнить об устойчивой научной традиции, я использую эти понятия не строго. Лабораторно чистых примеров архаики и традиционных обществ на отечественных просторах давно не обретается. Однако традиционная крестьянская культура — так называемое двоеверие, или «бытовое православие», — представляет собой христиано-языческий синкретизм. Это общепризнанно.

Иными словами, доосевого (языческое) и собственно осевого (христианское) начала в русской реальности переплетаются. Процессы модернизации смещали пропорции между стадийно разнородными компонентами единого культурного комплекса, но качественные характеристики сохранились. В русской реальности и в русской ментальности наличествуют моменты, принадлежащие разным стадиям исторического развития. Поэтому, говоря об обществе в России, я позволяю себе называть его традиционным, помня и о том, что в эту традиционную реальность вплетаются элементы архаики. При всех оговорках только такая характеристика позволяет выявить сущностные черты и объяснить логику развития этого общества.

Игорь Клямкин:

Похоже, вы с Андреем Анатольевичем по-разному толкуете понятия. Но ваша позиция понятна.

Андрей Пелипенко:

Хотелось бы уточнить также, как соотносятся докладчиком понятия «репрессия» и «насилие».

Игорь Яковенко:

Я понимаю это соотношение следующим образом. В качестве субъекта репрессии выступает некоторая надличностная инстанция, выраженная в возрастной, властной, сословной иерархии. Репрессия служит воспроизводству или самоизменению социокультурного целого. А насилие может быть частным или групповым. Оно может соотноситься с целями воспроизводства целого, а может преследовать свои собственные цели, противостоящие целям репрессии или с ними не соотносимые.

Андрей Пелипенко:

И еще один вопрос — о дедовщине. О ней в докладе говорится как о прямом продолжении определенной репрессивной традиции. Однако во время войны

и в послевоенный период (по крайней мере, до начала 1960-х годов) дедовщины в армии не было. Во всяком случае в таких варварских, как сегодняшние, формах. Стало быть, необходимо объяснить, чем был вызван разрыв в традиции. Возможно, в ситуации реальной войны включаются какие-то иные стереотипы поведения и квазиинициационные формулы?

Игорь Клямкин:

Мне приходилось читать, что во время войны, а также в ситуации, когда в сознании солдат перспектива войны выглядит актуальной, дедовщина блокируется страхом получить в бою пулю в спину. Тот, кто не может противостоять «деду» в казарме, имеет возможность с обидчиком рассчитаться...

Игорь Яковенко:

Дедовщина была вызвана к жизни конкретными обстоятельствами, о которых я ниже скажу. Но сначала еще раз подчеркну, что культурные истоки этого феномена вижу в архаических культурных практиках. Дело в том, что такие практики, казалось бы, исторически пережитые и отринутые, никуда не исчезают. Они уходят с горизонта актуального сознания и сохраняются в памяти культуры. Там эти практики лежат неограниченно долго, но в определенных ситуациях могут актуализоваться.

В книгах Светланы Алексиевич упоминается примечательная вещь. Описывая Отечественную войну в Белоруссии, она рассказывает вот о чем: когда каратели приходили в деревню, где были партизаны, все население пряталось в соседнем озере и часами сидело под водою, дыша через соломинки. Это было бы очень интересное наблюдение, если бы именно этот прием не описывали византийские авторы как военную хитрость славян. Иными словами, военная практика эпохи племенного быта, зафиксированная в VII веке, каким-то образом дожила до века XX, и в ситуации острого кризиса всплыла на поверхность.

Когда в армии была разрушена система постоянного надзора младшего командного состава над солдатами (в этом, по-моему, причина современного разгула дедовщины, а не в чем-то другом), реализовался тот же механизм. Вместе с надзорной функцией сержанта из казармы ушло государство, и культурная память предложила солдатам универсальную архаическую структуру взаимоотношений. Типологически то же самое происходило в осажденном Ленинграде, во время голода в Поволжье или в период Голодомора на Украине. Давным-давно табуированная культурная практика людоедства всплывала в исключительных обстоятельствах.

Игорь Клямкин:

Дедовщина все-таки возникла не в исключительных, а как раз в обыденных обстоятельствах. Больше нет вопросов?

Алексей Давыдов:

У меня есть, если позволите. Из текста Игоря Григорьевича не вполне ясно, в чем он видит культурное основание репрессии. В докладе написано так: основанием является традиция, которая пришла из азиатской деспотической социальной действительности, когда государство перераспределяет общественное богатство репрессивно и централизованно. Но у этого основания, в свою очередь, тоже должно быть свое культурное основание. Меня интересует онтология проблемы. Где ее «дно»? Что является самым предельным основанием репрессии?

Игорь Яковенко:

Мы с Давыдовым работаем в несколько различающихся понятийных сетках, и это затрудняет коммуникацию. Самое «дно» состоит в том, что человек по своей природе греховен, зло живет в человеке. Оно проистекает из того, что человек свободен — в том числе и в смысле свободы совершать самые разнообразные социальные поступки. Поэтому любая социальность требует принуждения, а культура это принуждение по-разному формирует, дозирует, оформляет, соотносит с системой поощрений...

Андрей Пелипенко:

По этому поводу есть блестящая цитата из Шан Яна. Привожу ее по памяти. Государь, говорил Шан Ян, должен управлять через поощрения и награды, но наказаний должно быть в три раза больше, чем наград, потому что человек по природе своей туп, ленив и злонравен.

Игорь Яковенко:

Я, в отличие от Шан Яна, не хочу сказать, что природа человека сводится ко злу. Но утверждение, что человек по своей природе добр — вредная и опасная химера. Он открыт как к добру, так и ко злу. Другое дело, что человека нельзя соблазнять, создавая ситуацию, в которой следование путями зла делает его бенефициарием и не сопряжено с риском расплаты за содеянное. Тогда начинается глубочайший кризис. Именно такую ситуацию переживает наше общество.

Алексей Давыдов:

Тогда возникает следующий вопрос: почему человек идет ко злу? Связано ли это с грехопадением?

Игорь Яковенко:

Это вопрос религиозно-философский, на него нет единого ответа. Мне ближе всего ответ в рамках гностической традиции. Материя отягощена злом. Зло содержится в природе бытия, а значит — в природе человека.

Алексей Давыдов:

Такой ответ годится, чтобы описать статику. А как описать модернизацию?

Игорь Яковенко:

Модернизация — это переход от примитивных форм зла, т.е. элементарного и brutального насилия, угнетения, манипулирования, к более утонченным формам.

Вадим Межуев:

У меня сходный вопрос. Я согласен, что культура репрессивна. Но против чего направлена ее репрессия? Вы называете культурой надбиологическую систему или программу. Следовательно, она репрессивна по отношению к тому, что существует еще на уровне биологии, что сохраняется в человеке от животного. Все известные системы табу, или запретов, высвобождали в человеке человеческое начало, были направлены против звериного в нем. Согласны?

Андрей Пелипенко:

О чем вы говорите? Известны, например, такие табу, согласно которым нельзя смотреть, как вождь ест, нельзя прикасаться к его предметам. Это тоже направлено против звериного?

против человеческого? Да, у зверей-хищников нет ценности чужой жизни. В этом смысле идея самоценности человеческой жизни действительно отличает человека от зверя, она действительно направлена против животного начала в нем. Но культура, как известно, не сводится к норме «не убий». И ее репрессивность по отношению к правонарушителям — это репрессивность не только по отношению к убийцам.

Андрей Пелипенко:

Хочу попутно заметить, что репрессивность культуры по Фрейдю, обоснованная в духе «Тотема и табу», плохо сочетается с фактами. Еще современные Фрейдю этнографы (Леви-Брюль, Мосс, Малиновский) показали, что механизмы табуации имеют гораздо более глубокую и сложную природу. Поэтому тема репрессивности культуры в психоаналитической традиции постоянно углублялась.

Игорь Клямкин:

Спасибо, Андрей Анатольевич. Завершаем эту интеллектуальную разминку, которая сегодня, по-моему, слишком затянулась и от основной темы доклада Игоря Григорьевича увела нас достаточно далеко. В разговоре о репрессивности культуры «вообще» утонула тема репрессивности культуры российской. Переходим к дискуссии. Начнет Эмиль Абрамович.

Эмиль Паин:

«Уровень репрессивности западной культуры до XX века был выше, чем культуры русской»

Игорь Яковенко — один из самых обаятельных и наиболее приятных мне участников нашего семинара. И это мое выступление в самом точном смысле отражает известную формулу, которую использует в своем тексте и Игорь Григорьевич: *nothing personal — just business*.

Докладчик представляет неприемлемое для меня направление культурологической школы, трактуемое мной как примордиализм. Насколько я понимаю, культура в рамках этого направления рассматривается двойственно. С одной стороны, она выступает чем-то внешним по отношению к социальным сообществам, не поддающимся их воздействию, т.е. как форма социального регулирования, похожая на судьбу. Или, как пишет Яковенко, «задающая судьбу стран и народов». С другой стороны, культура в данном случае понимается и как внутреннее свойство социального субъекта, похожее на дурную болезнь. Субъект заражается ею без права на излечение. Так и русская культура, судя по докладу, когда-то заразилась репрессивностью и не может от нее излечиться.

Но почему именно русская культура, в отличие от других, определяется в докладе как репрессивная? «Репрессия, — отмечает Яковенко, — относится к универсальным характеристикам сложно организованной жизни. Любые устойчивые сообщества, состоящие из автономных особей, существуют в контексте репрессивного насилия». Получается, что в мире нет ни одной страны, которая обходилась бы без репрессивности. Но если так, то на каком же основании русская культура по данному показателю автором среди других выделяется?

Может быть, речь идет о каком-то экстраординарном проявлении репрессивности, вроде политики холокоста? Однако, как мне помнится, эту политику проводили другое государство и другой народ. Вместе с тем нет никаких доказательств и того, что холокост — продукт немецкой народной культуры. Напротив, с XVII по начало XX века не было в Европе мест, более благоприятных для интеграции евреев в принимающие сообщества, чем немецкие государства. Не случайно язык «идиш», народный костюм и основные элементы традиционной диеты

аналогия с советской эпохой, используемая Алексеем Платоновичем, не выглядит убедительной. Не исключено, что упомянутая им прежняя «дурная цикличность» в российской истории как раз завершается, хотя и непонятно чем.

Однако эти свои соображения я адресую все же не столько Давыдову, сколько нашему сегодняшнему докладчику. Приведенные Алексеем Платоновичем примеры лишней раз свидетельствуют о том, что ссылки на традиционное общество и традиционную культуру сами по себе мало что объясняют, когда речь идет о современных процессах. В том числе и в природе современной репрессивности. Почему-то в Южной Корее и Сингапуре, в культурах которых традиционности уж точно не меньше, чем в культуре российской, репрессивность эта действует в одном направлении, а в России — совсем в другом.

Андрей Анатольевич, теперь вы.

Андрей Пелипенко:

«Вопрос о репрессивности культуры неотделим от вопроса о признании ее субъектности в самом прямом значении этого слова»

Мне кажется, что такие понятия, как «репрессия», «насилие» и «принуждение», все-таки находятся в запутанном состоянии. Они выступают то как синонимы, то как пересекающиеся понятия. Скажем, оппозицией вознаграждению будет все-таки принуждение, а не репрессия. На уровне конкретных ситуаций требуется всякий раз более тонкий анализ. Где-то мы имеем дело с поощрением, в каком-то случае — с легитимно поощряемым поведением, в каком-то — с наказанием за неправильное поведение. Например, наказание ребенка в целях воспитания — это репрессия? И вообще, с какого уровня насилия репрессия начинается? Это мое пожелание относительно развития темы на понятийно-терминологическом уровне.

Игорь Яковенко:

Да, тут еще есть о чем подумать.

Андрей Пелипенко:

Сегодняшний наш семинар начался с вопроса Эмиля Паина докладчику о понимании им того, что есть культура. И на нынешнем, и на предыдущих семинарах вопрос этот все время просился быть обсужденным, но мы от него старательно уходили. Однако уйти все равно не удастся. К нему возвращает уже само название нашего семинара, а также то, что несовместимость парадигм его участников неизбежно сказывается на содержании дискуссий...

Игорь Клямкин:

Что предлагаете?

Андрей Пелипенко:

Я хочу дать свой ответ на вопрос Паина, несколько отойдя от конкретного содержания доклада, но сохраняя связь с темой репрессивности.

Игорь Клямкин:

Посмотрим, куда вы нас заведете. Давайте поэкспериментируем.

Андрей Пелипенко:

Культура возникла как системное эволюционное образование. Одной из действующих причин эволюционирования были изменения психики предков

человека, в результате которых эта психика стала способной к продуцированию смысла. Все остальное — это уже *содержание* смыслов. То, что мы называем добром, злом, свободой, несвободой, моралью, религией, этикой... Все содержательные различия внутри смысла — это, соответственно, различия внутри культуры.

Будучи органической самоорганизующейся системой, она проходит имманентные фазы развития — в том числе и кризисные, в ходе которых входит в противоречия сама с собой, будучи вынужденной ломать установленные ею нормы, формы, традиции, ориентиры, свои собственные структуры и перегородки внутри себя.

Вадим Межуев:

А человеку, его субъектности тут остается место?

Андрей Пелипенко:

Человек является носителем всякой культуры, без него она существовать не может. Если я умозрительно разделяю человека и культуру, то это не значит, что они разделяются эмпирически. Культура живет и развивается через людей, через их страсти, ценности, переживания, устремления.

Репрессивное действие культуры на человека проявляется в двух режимах. Существует фоновое репрессивное давление на него, которое связано с необходимостью специализации человека в соответствии с имманентным генезисом подсистем культуры. Потенциальную свободу человека, множественность его возможных самореализаций, его органический творческий потенциал культура отсекает репрессивно-принудительным образом, превращая человека в носителя некоторого набора социальных функций. Это специализирующий вектор репрессивности. Но он не единственный.

Когда культура входит во внутренний кризис, она должна ломать структуры своих столь бережно взлелеянных подсистем. К примеру, ненависть к чужаку имела место еще у архантропов. И изначально в этих небольших популяциях чужак был объектом охоты и ритуального каннибализма. Но при переходе к более крупным социальным образованиям, которые соответствовали следующей стадии культурно-социальной организации, эти локальные перегородки по линии «свой-чужой» надо было поломать и заменить на более широкие и сложно обусловленные. Здесь культура являет себя в полной мере субъектом, причем субъектом по отношению к человеку опять-таки репрессивным.

В периоды бурных изменений подсистемных и тем более общекультурных конфигураций репрессивность культуры не только резко возрастает количественно, но и становится более адресной, направленной. В такие периоды интенсивность репрессивности подчас подходит вплотную к критическому рубежу и вызывает острые социальные коллизии, иногда подталкивая коллективное сознание к инверсионным скачкам и ритуальному хаосу.

Вадим Межуев:

Получается, что культура функционирует в некоем сверхчеловеческом качестве...

Андрей Пелипенко:

Есть бесчисленные примеры того, как люди, независимо от их личных психологических свойств и убеждений, разницы в жизненном опыте, интеллектуальном и образовательном уровнях, начинают мыслить и действовать одинаково, выполняя некую непостижимую для них общую задачу. Разве не убеждает все это

в наличии целенаправленных манипулятивно-репрессивных действий культуры? Императивность культурных программ, по рукам и ногам опутывающих человека и с легкостью ломающих даже такие базовые природные программы, как, например, инстинкт самосохранения, — тоже явление явно не из мира «человеческого, слишком человеческого». А коллективная «умственная слепота» в кризисные исторические периоды?

Таким образом, вопрос о репрессивности культуры неотделим от вопроса о признании ее субъектности в самом прямом значении этого слова.

Само по себе такое ее понимание отнюдь не является чем-то новым. Хотя тезис о культуре как субъекте не столь часто артикулировался со всей определенностью, в несобственной, замещенной форме он присутствует в значительном корпусе текстов. Я не могу сейчас на них останавливаться, но могу уверенно утверждать, что субъектность и, соответственно, репрессивность культуры раскрывается через широкий дискурсивный круг — от цивилизационных исследований до современной социологии и политологии. В том числе и самой что ни есть прикладной.

Смысловое ядро всех этих концепций тяготеет к пониманию социального (социокультурного) не как механически размноженной человеческой субъектности, а именно как субъектности *автономной*, системно организованной на надчеловеческом уровне и преследующей свои собственные цели. Но такие концепции в большинстве своем вязнут в трясине стихийного отторжения и психологической инерции антропоцентризма. Их либо не слышат, либо понимают искаженно, либо, понимая адекватно, сознательно игнорируют. Видимо, эта неопределенность и не позволила до сих пор разработать диалектику человеческой и надчеловеческой (в наших понятиях, культурной) субъектности и расставить четкие акценты в этом вопросе.

Итак, есть целый ряд культурных программ, скрытые механизмы которых человек понять не в состоянии. Они задаются «сверхчеловеческой» субъектностью культуры как самоорганизующегося системного образования. А каждая локальная культурная система в истории имеет свою *региональную телеологию*, которая находится в сложных отношениях с общеэволюционными векторами развития. Существует ли вообще общеэволюционная цель — вопрос метафизический, а потому бесконечный. Во всяком случае, можно говорить о некоей общеэволюционной направленности. Но конкретный исторический человек до этих сфер не дотягивается. Он всегда имеет дело лишь с региональной онтологией, которая и выступает для него источником репрессивности.

Игорь Клямкин:

Допустим, что мы с вами согласились, для чего есть основания: ваша аргументация выглядят достаточно убедительно. Но сейчас обсуждается конкретный вопрос о репрессивности русской культуры. Или, если следовать вашей логике, о русской культуре как субъекте репрессии. Можно ли с высоты вашего уровня рефлексии увидеть в предмете обсуждения что-то дополнительное к тому, о чем говорили коллеги?

Андрей Пелипенко:

Этот предмет я, в отличие от Игоря Григорьевича, специально не изучал. Но при моем подходе лучше видны ловушки, которые подстерегают нас в такого рода исследованиях и обсуждениях их результатов. И главная среди них находится между правом, как инструментом репрессии, и моралью.

Рефлексия, начинающая свой путь от заданной конкретными историко-культурными обстоятельствами правовых отношений, как правило, «вязнет» на уровне этики. Будучи не в силах преодолеть навязанную культурой псевдометафизичность и сакрализованность этических представлений, она, рефлексия эта, не способна прорваться никуда дальше. Так, проблема допустимости смертной казни обсуждается в большинстве случаев исключительно с позиций абстрактной «общечеловеческой» этики. Этики, не учитывающей не только несовместимость внутренних «правил игры» разных культурных систем (одним из немногих, кто всерьез озаботился этой проблемой, был М. Фуко), но и самое главное — промежуточный, не субстанциональный характер самой сферы этического...

Игорь Клямкин:

Представляю, каково слышать это Вадиму Межуеву...

Андрей Пелипенко:

Именно уважаемому Вадиму Михайловичу я этот тезис специально и адресую. О чем идет речь?

Вспомним еще раз об упомянутой Эмилем Паиным свирепости уголовных законов в европейских странах, ставших на путь буржуазного преобразования общества. Обычно они оцениваются с позиций абстрактного гуманизма, сформировавшегося в послевоенном мире в обстановке «смягчения нравов». То есть с позиций, придерживаясь которых вообще ничего объяснить невозможно.

Вот, скажем, английское законодательство начала XIX века включало 222 преступления, наказуемые смертной казнью. В их числе были такие, как кража носового платка, убийство кролика, карманная кража (более одного шиллинга)... И никакое Просвещение, никакие тогдашние гуманистические идеалы этому не мешали. А раз так, то и объяснять все это ссылками на гуманизм, антигуманизм, на мораль как таковую — значит отказаться от рационального объяснения вообще.

Между тем за всеми рефлексиями на этические и правовые темы стоят всего лишь два фактора: *цена человеческой жизни* и *цена социального порядка*. Когда социальный порядок неустойчив, человеческая жизнь падает в цене. Тогда становятся возможными и повешения голодных детей за украденную булку, и расстрелы участников забастовок. И все это будет происходить совершенно независимо от характера и статуса морально-этических представлений в обществе или отдельных его слоях, ибо это жизненно важный процесс самоорганизации и самокоррекции культурной системы в целом. А морально-нравственные, правовые и прочие дискурсы с соответствующими им институтами — всего лишь опосредующие обертки, «спускающие» исходную оппозицию (цена порядка — цена жизни) до ее ситуативного — в историческом масштабе — преодоления.

Когда же социальный порядок устойчив и ценностные акценты смещаются в сторону индивидуального, отдельная человеческая жизнь становится более значимой. Поэтому уровень уголовной репрессивности как частного случая репрессивности культурной снижается. Соответствующие представления конечно же оформляются в виде морально-этических норм, которые, конечно же, притязают на статус абсолютных и применимых ко всем временам и народам. Но когда дело снова касается малейших или даже мнимых угроз социальному порядку, направленных в некие «болевы точки», система, приводя в действие бессознательные социальные инстинкты, реагирует быстро и жестко.

В этих случаях господствующая в обществе мораль мгновенно падает в цене. Так, никакой гуманизм современной либеральной культуры, не говоря уже



о других, не в силах помешать расстреливать на месте мародеров в ситуациях точечного разрушения социального порядка, связанного, к примеру, со стихийными бедствиями. При этом императивность поведенческих программ, запускаемых культурой во имя своего сохранения, исключает всякий плюрализм: репрессивные меры в таких случаях, как правило, не принято ни обсуждать, ни тем более оспаривать. Притом, что в «секторе стабильности» любые процессуальные нарушения прав обвиняемого вызывают бурную реакцию неприятия и отторжения.

Игорь Клямкин:

Спасибо, Андрей Анатольевич. Думаю, что представленное вами понимание культуры, близкое, насколько могу судить, ее пониманию докладчиком, полезно для нас уже тем, что в дальнейшем исключит, возможно, не столь уж редкие на наших семинарах споры с придуманными оппонентами. Что касается объяснительного потенциала вашего подхода применительно к феномену российской репрессивности, то у меня лично пока остаются вопросы. В этой репрессивности как раз мораль, а не право приобретает нередко субстанциональный характер. Кроме того, в России могут репрессироваться не только реальные угрозы социальному порядку, но и угрозы имитируемые. Почему, наконец, этот порядок до сих пор стоит у нас так дорого, а человеческая жизнь — так дешево?

Андрей Пелипенко:

Кое-что я сказал об этом в своем докладе и в ходе его обсуждения.

Игорь Клямкин:

Помню. Но о феномене репрессивности тогда речи не было. Тут, мне кажется, широкое проблемное поле для дальнейших обсуждений.

Не знаю, двинется ли на это поле Денис Драгунский, но слово я ему предоставляю.

Денис Драгунский:

«ДЕЛО НЕ В ТОМ, СКОЛЬКО В АМЕРИКЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И КАКОЕ ТАМ АНТИРАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, А В ТОМ, ЧТО АМЕРИКАНСКИЙ РАБОЧИЙ МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ НА ДОМИК И ЖИТЬ НОРМАЛЬНО»

Я предпочитаю вернуться к докладу Яковенко. Он мне понравился тем, что в нем предпринята попытка предложить ясную, четкую и очень понятную классификацию культур. Я считаю методологически правильным, когда фундаментальные проблемы мы решаем с помощью простых понятий. В данном случае такими элементарными (для данного исследования, разумеется) понятиями являются «репрессивная культура» и «культура поощрения». Так сказать, репрессивные и поощрительные способы модернизации.

Я отдаю себе отчет в том, что репрессия, насилие — это огромная область социальных практик, это мощнейший дискурс, и об этом можно еще говорить и говорить, уточнять и конкретизировать. Но есть реальная опасность, что в этих уточнениях мы погрязнем. Поэтому мне импонирует подход докладчика.

Что такое культура? Это какое-то принуждение к норме. Принуждение к норме может идти через репрессии и с помощью поощрения. Баланс этих способов и характеризует ту или иную культуру.

В данной связи мне кажутся совершенно неправомерными замечания Эмиля Паина о примордиализме. Доклад как раз очень даже социально-ориентированный.

Примордиализм — это, мне кажется, нечто другое. Это убежденность в том, что наше поведение, культура, социальность — все это чуть ли не биологически предопределено. Ну, а если и не биологически, то каким-то загадочным образом жестко обусловлено. А в докладе Яковенко, мне кажется, ничего подобного нет, там социологически все хорошо обозначено.

Алексей Платонович Давыдов говорит, что в Америке тоже репрессивное общество. И в Сингапуре. И в Южной Корее. Но это, по-моему, не опровергает докладчика. Ведь речь идет и должна идти не просто о репрессивном или поощрительном (гратулятивном) обществе. Таких чистых типов не бывает. Общество может быть репрессивно-центрированным и гратулятивно-центрированным, и сравнение этих двух понятий очень продуктивно.

Допустим, мы знаем, что законодательство в США более жесткое, и в тюрьмах там сидит больше народу, чем у нас, и сроки дольше. Но если говорить о поощрительных моментах, то их несоизмеримо больше в США, чем в России в любой период ее истории. Не об абсолютном количестве заключенных и не об антирабочем американском законодательстве надо говорить, а о том, что американский рабочий может заработать себе на домик и жить нормально.

А в нашей культуре преобладает репрессия. И привычка жить от репрессии до репрессии. Дело опять-таки не в количественных показателях, не в статистике наказаний. Взять тот же самый упомянутый Давыдовым Сингапур: кого-то там за коррупцию расстреливали. Но тот, кого не расстреливали, тот не жил в коммуналке.

Еще один интересный вопрос — о том, как репрессия становится гратуляцией. Были ведь в сталинскую эпоху люди, которые с восторгом принимали казни и кричали: «Расстрелять Зиновьева!» И они делали это не только по приказу. «Большие процессы» — это тоже была в некотором роде гратуляция, потому что сам Зиновьев был палач, и люди чувствовали, что тут неким ужасным способом торжествовала справедливость.

Игорь Клямкин:

И воспринимали это как поощрение?

Денис Драгунский:

Да, как своего рода поощрение. И, наконец, еще несколько слов о функции культурного принуждения. Огромное количество табу у разных народов связано с тем, что обеспечение трансляции социального порядка предполагает сохранение отделенности человека от животного мира. Именно этим обусловлено большое число негативных нагрузок на животные образы, именно отсюда выражения типа «зверская жестокость», «зоологическая ненависть». Это подтверждение одной из функций культуры — отграничиться от чего-то неприемлемого, «внекультурного».

В заключение повторю, что считаю плодотворным изучать такое сложное явление, как культура, с помощью достаточно элементарных позиций типа репрессивного и поощрительного способов вчинения норм.

Андрей Пелипенко:

Это такой принятый стереотип относительно того, что культура себя отгораживает от животного мира. На самом же деле она вовсе не отклоняет животные начала. Она их конвертирует.